

ЕСЕНИН... Как о нем сказать? Сказать — как выдохнуть. Только так. Сказать не с языка, а с сердца прямо. Самим Есениным сказать о Есенине, сказать самой Россией.

Есенин и Россия... Это и широкое поле во все глаза, это и темная кромка леса у горизонта по краю того поля,

Егор ИСАЕВ

НА ВЫСШЕМ ПРЕДЕЛЕ

НАД ЛЮБИМОЙ
СТРОКОЙ

это и тонкий молодой месяц над темной кромкой того леса... И, конечно же, «дальний плач тальянки, голос одинокий — и такой родимый, и такой далекий».

Родимый! — точнее не скажешь. Как это больно и радостно подходит к Есенину.

Но только не одинокий, нет. Такие, как Есенин, одиноками быть не могут. Даже тогда, когда они одни, они все равно не одиноки, поскольку принадлежат всем. Они пронзительно дороги каждому и касаются всего. Такова природа таланта. Тем более такого чуткого, как у Есенина: общительность — до самоотрешения, отдача — на высшем пределе.

До войны я мало что знал о Есенине. Слышал что-то о нем — и все. Теперь-то я понимаю: это был тот самый слух, о котором говорил Пушкин: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...» Это не только про себя, это и про всех тех великих, кто придет вслед за ним, в том числе и про Есенина. Слух о нем действительно достиг околицы моего воронежского села, околицы моего сердца, а затем полонил его целиком. Полонил нежностью и грустью; болью и восторгом. Мыслью полонил, как чувством, и чувством, как мыслью, полонил. И ничего по раздельности, все — в общей системе богатой и щедрой натуры.

Есенин!

Даже в самом имени его слышится что-то по-весеннему радостное, звонкое и вместе с тем что-то тревожное, грустное... От осени что-то.

Первые стихи Есенина.

Прочитал ли я их тогда, или они сами навевались мне? Не знаю. Одно скажу только: такое чувство, что они с детства у меня на памяти, как на памяти у меня, скажем, запах сырого снега и гомон первых прилетных грачей с картины Саврасова... Я никогда их не учил наизусть — кажется, они сами однажды пришли ко мне на память и навсегда остались там.

Выткнулся на озере
алый свет зари.
На бору со звонами
плачут глухари.

Плачет где-то иволга,
схоронясь в дупло.
Только мне не плачется —
на душе светло.

Чудо прямо, а не стихи! Кажется, что они даже не сочинены кем-то, а просто сырým ветром навеваны к сердцу с того предрассветного озера, с

той алой зари, из того сырого бора, где «со звонами плачут глухари»...

А возьмите стихотворение «Утром в ржаном закуте...». С каким соломенным, летним теплом среди пуховой снежной красоты сказано в нем о материнском чувстве собаки, о только что появившихся на свет кутятах!.. И какая ледяная тоска больно сомкнется потом над черной бездной проруби, поглотившей эти малые, беззащитные существа!.. Синяя высота утреннего неба по отвесу лезвием упадет в сердце матери-собаки и высе-

ходе. В ней зарождалась новая деревня. И поэтому мне понятны чувства Есенина: он не мог, грустя, не попрощаться со старой деревней, как, скажем, с любимой бабушкой своей, и в то же время не мог — правда, не без некоторой настороженности — не поприветствовать деревню новых социальных начал, заложенных отчасти в основах старой деревни — в ее общине. И по-другому поэт чувствовать и мыслить не мог, а это значит, что и писать он не мог по-другому. Поступи он иначе, он бы потерял самое великое в таланте — право на искренность.

Мог ли на это пойти Есенин? Конечно же, нет, не мог. Пойти на такое — это значит перестать быть поэтом, изменить своему природному дару переживать, мыслить, творить.

чет, выкроит оттуда горячие, как сами слезы, строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Больнее не скажешь.

Бытует мнение, что Есенин де разбился о город. Возможно, в какой-то мере это и так. Только о какой город — вот вопрос. Пролетарский или нэпманский? О пролетарский он разбиться не мог, поскольку сам труженик из тружеников — из крестьян, родственных в труде рабочему городскому люду. И доказательство тому налицо: у Есенина во всем его творчестве, сколько вы ни старайтесь, не найдете даже и намека худого на то, что прямо или косвенно имеет отношение к работе вообще и к рабочему классу в частности. Другое дело:

Россия... Царщина...

Тоска...

И снисходительность

дворянства.

Ну что ж!

Так принимай, Москва,

Отчаянное хулиганство.

...

Не нравится?

Да, вы правы —

Привычка к Лориган

И к розам...

Но этот хлеб,

Что жрете вы, —

Ведь мы его того-с...

Навозом...

Да, эти слова напрямую обращены к городу. Но к какому! Уточню: к городу всевозможных эксплуататоров и всех сытно и праздно живущих особ.

То же самое можно сказать и о послереволюционной нэпманской части города, в частности о Москве кабацкой, именем которой и назвал впоследствии поэт свой большой цикл стихов. Это было своеобразной реакцией Есенина не на пролетарский, а на нэпманский город — город безвкусицы, духовного распада и мелких торгашей. О такой город он вполне мог разбиться, такой ранимый поэт. И если уж не насовсем, то, во всяком случае, душу свою, открытую до самого больного, зашибить ненароком мог. А так оно, в общем-то, и произошло.

Есенин сказал о себе, что он «последний поэт деревни». Эта мысль тоже, на мой взгляд, требует некоторых пояснений. «Последний поэт деревни» — это еще вовсе не означает того, что и деревня в таком случае последняя. Последней деревни вообще не было и не могло быть тогда.

Другое дело — старая деревня. Она, да, была, но была уже, можно сказать, на ис-

И Есенин переживал, мыслил, творил, постоянно пребывая сердцем и словом своим на перетоке, а точнее, на переломе, сложных бытовых и социальных событий. Он, как истинный большой поэт, был диалектиком от природы, а не возвышенным ритором просто.

Милый, милый,
смешной дуралей,
Ну куда он,
куда он гонится?
Неужель он не знает,
что жиевых коней
Победила стальная
конница?

Тут все: и неизбежность боли, и сама боль, детство века в образе жеребенка и его же взрослость — его железная конница в образе паровоза. Есенин мысленно принимал железо — и не мог не принимать как здравомыслящий человек, философ, политик, наконец, — а сердцем, каждым обнаженным нервом своим одновременно остужался о его бесчувственную, нетелесную плоть. Но даже и тут социальное чутье ничуть не изменило ему. Одно дело — «железный Миргород» Нью-Йорк, и другое дело — советская железная Русь. Разница между ними великая. Это чувствовал Есенин.

То же самое можно сказать и о его космическом чувстве земли, о чувстве от ее малого вершка под босой ногой до всевышних вселенских бездн над головой:

Там, за млечными холмами,
Средь небесных топей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.

Великий поэт, что и говорить! Потому-то он и предельно ранимый со стороны и беспощадно бичующий себя изнутри. Помните его «Черного человека»? Так жестоко и так честно мог относиться к себе только истинно великий поэт. Равных в этом смысле ему я не вижу ни в далеком прошлом, ни сейчас...

На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке
дрян.

Пускай я сдохну,
Только..
Нет,
Не ставьте памятники
в Рязани!

Какая чугунная пощечина не себе, а разнузданному тщеславию вообще. Это где-то близко к пушкинскому «Пророку», к доверительным словам Маяковского: «Сочтемся славою — ведь мы свои же люди...» Вот почему и поставлен памятник Есенину. И не только в Рязани... В душе!